

# ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

ЖУКОВСКИЙ. –

ПУШКИН. – О НОВОЙ

ПИИТИКЕ БАСЕН

# **Петр Андреевич Вяземский Жуковский. – Пушкин. – О новой пиитике басен**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=24501666](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24501666)*

## **Аннотация**

«„Глупец, который в первый раз видит черных невольников, воображает себе, что они все на одно лицо: прелестные арии Россини те же черные невольники для глупцов!“ Прочитав сие остроумное уподобление в жизнеописании Россини, изданном прошлого года, в Париже, Стендалем, применил я его тотчас к суждениям некоторых судей-самозванцев наших об однообразии стихотворений Жуковского...»

# Жуковский. – Пушкин. – О новой пиитике басен

«Глупец, который в первый раз видит черных невольников, воображает себе, что они все на одно лицо: прелестные арии Россини те же черные невольники для глупцов!»

Прочитав сие остроумное уподобление в жизнеописании Россини, изданном прошлого года, в Париже, Стендалем, применил я его тотчас к суждениям некоторых судей-самозванцев наших об однообразии стихотворений Жуковского. Нет сомнения, что многие из произведений Жуковского, а в особенности последние, носят какой-то общий отпечаток; но просвещенный взор, но изощренное чувство образованного знатока откроют везде черты отличительные. Большая часть философических од Горация также на один напев; его философия заключается в одной господствующей мысли, в одном господствующем чувстве, но переливы их разнообразны, разноцветны, и они-то услаждают читателей многих столетий. Каждый готов согласиться, что разнообразие в творческой способности есть венец дарований поэта; но Протеи, каковы, например, Вольтер во Франции, Гете в Германии, каждый в своем роде и народе, бывают редкими исключениями из общего закона; да еще и у сих универсальных умов, всеобъемлющих гениев, нет ли какой особенной повадки природной, неизбежной, неистребимой? Сама природа, раз-

нообразная в целом, обыкновенно подвержена бывает однообразию в отдельном. Цветок имеет один запах, плод один вкус, красавица одно выражение. Можно даже сказать, что, за исключением редких исключений, чем достоинство превосходнее, чем оно решительнее, тем скорее может быть односторонним, одноличным: посредственности или по крайней мере полусовершенству удобнее быть разнообразным и многоличным.

Остановимся на сравнении дарования писателя с красотою женщины. Правильная красавица будет иметь одно главное, постоянное выражение в лице своем; физиономия переменчивая, зыбкая будет принадлежностью пригожества, а не красоты! Прибегнем к другому сравнению: мысль главная, усилие постоянное, так сказать, душа целого бытия встречается только в характерах великих. Ум стремится к разным целям; гений напирает на одну цель. Предложение мое может отзываться несколько парадоксом, но при беспристрастном и прилежном исследовании наведет оно, вероятно, на истину.

Имя Жуковского сделалось с некоторого времени любимую темою аматёров на поприще критики. Испытывая свои силы против него, думают они, что доказывают тем свою независимость. Смешно и худо раболепствовать, но также худо и еще смешнее быть мятежником, не имея ни права на то, ни надежных союзников в собственных силах, в познаниях надлежащих и в доверенности посторонней, основан-

ной на прежних успехах. Как, например, прочесть без смеха следующее суждение в «Письме на Кавказ» («Сын Отечества», 1825 г., № 2, стр. 205): «Было время, когда наша публика мало слыхала о Шиллере, Гете, Бюргере и других немецких романических поэтах; теперь все известно: знаем, что откуда заимствовано, почерпнуто или переиначено. Поэзия Жуковского представлялась нам прежде в каком-то прозрачном, светлом тумане; но на все есть время, и этот туман теперь сгустился» и проч.

Во-первых, что за слог метеорологических наблюдений? Что за туман, который был прозрачен и теперь сгустился? Таким ли календарским языком пишут и судят о поэтах? Далее: г. сочинитель письма мог за себя признаться, что он недавно вслушался в имена Шиллера и Гете, сознание похвальное в отношении некоторого смирения и простодушия! Но кто дает ему право делать и публику участницею в долговременном неведении своем? Сганарель, сытно пообедав, думал, что и семья его сыта; а здесь автор думает, что чего он не знает, того и прочие не знают. Сверх того, по словам его можно заключить, будто Жуковский хотел обманывать читателей и выдавал им чужое за свое, переводы и подражания за подлинники. Вот это уж намек неблагонамеренный и совершенно неосновательный! В первом издании Жуковского, напечатанном в 1815 году, означены имена поэтов, которые служили образцами его спискам.

Вообще можно сказать, что суждения автора письма, под-

крепленные календарскими наблюдениями, столько же и гадательны, как многие из календарских истин.

Приговоры Пушкину, заключающиеся в том же письме, не основательнее первых. Не признавая глубокой чувствительности за отличительную черту поэзии Пушкина, автор утверждает далее мнение свое на следующих словах: «Пушкин не есть и не будет никогда рыцарем печального образа, чувствительным селадоном». Будто глубокая чувствительность есть принадлежность поэтических Дон-Кихотов и слезливых селадонов? Критик смешал чувствительность с притворною плаксивостью и оказал в себе совершенное отсутствие поэтического чувства, столь необходимого, когда хотим судить о поэтах и поэзии. Он элегии Пушкина называет прелестными игрушками. Новое противоречие, новый *ponsens*!<sup>1</sup> Если они игрушки, то уже не прелестны! Элегия только тогда и хороша, когда поэт г. ней не шутит, а грустит и плачет заправду. Элегия есть листок из бытописания души или холодная, скучная выдумка; элегии Пушкина не прелестные игрушки, но горячий *выпечаток* минувшего ощущения души, минувшего вдохновения, уныния – и вот чем они прелестны! «Песнь о вещем Олеге» не нравится критику; он не находит в ней той игривости в стихах, которую привык видеть у Пушкина. Наш критик должен быть большой весельчак. Он требует, чтобы и покойный Олег заигрывал с ним и тешил его. Элегии приемлются им за игрушки; здесь

---

<sup>1</sup> Нелепость (*фр.*).

жалуется си, что поэт не довольно разыгрался, хотя содержание «Вещего Олега» ничего в себе игривого представить не может. Недаром месте ставит он Пушкина выше, гораздо выше Жуковского, но, не определив степени ни того, ни другого, пускается он в одну пустую издержку слов. Что за принужденная и наобум сделанная оценка! Жуковский не написал бы многих страниц в «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане», многих из мелких стихотворений Пушкина, кипящих чувством и мыслию, но Пушкин не написал бы многих строф в «Певце во стане русских воинов», в «Громобое» и «Вадиме», «Светлане», в «Послании к Нине», «К Тургеневу»; не боролся бы с успехом, равным успеху Жуковского, в состязаниях с богатырями иностранной поэзии, в состязаниях, где он должен был покорить самый язык и обогатить столькими завоеваниями и дух, и формы, и пределы нашей поэзии. Согласен! В Пушкине нет ничего Жуковского, но между тем Пушкин есть следствие Жуковского. Поэзия первого не дочь, а наследница позади последнего, и по счастью обе живы и живут в ладу, несмотря на искательства литературных стряпчих щечил, желающих ввести их в ссору и тяжбу – с тем, чтобы поживиться насчет той и другой, как обыкновенно водится в тяжбах.

С удовольствием повторяем здесь выражение самого Пушкина об уважении, которое нынешнее поколение поэтов должно иметь к Жуковскому, и о мнении его относительно тех, кои забывают его заслуги: *дитя не должно кусать груди*

*своей кормилицы.* Эти слова приносят честь Пушкину, как автору и человеку!

Но пускай еще критик возносит Пушкина выше Жуковского, если непременно хочет ставить одного поэта на голову другому, а не позволяет им стоять рядом: Жуковский, верно, понесет охотно такое приятное бремя; но это не конец: у сочинителя «Письма на Кавказ» есть в запасе и еще несколько, кроме Пушкина, которые выше Жуковского. Сие открытие, которое он, вероятно, держит про себя до удобного случая, выгодно для пользы литературы нашей, но каково же будет Жуковскому? Предвижу, что не устоять ему, если автору письма поручено будет соорудить пирамиду из поэтов наших.

Многие с досадою жалуются, что у нас чужемыслие, чужеземство, чужезычие господствуют в словесности; что у нас мало своего, мало русского; что никто не старается дать поэзии нашей направление народное. Может быть, отчасти это и правда. Но, по справедливости, признаться должно, что и у нас встречаются яркие примеры такого литературного патриотизма, который даже и у немцев и англичан мог бы показаться баснословным.

В доказательство тому привожу выписку из «Письма на Кавказ» («Сын Отечества», 1825, № 3, стр. 313). Речь идет о новых баснях г. Крылова, напечатанных в «Северных Цветах».

«Они прекрасны, замысловаты, но... право, не хочется



высказать, – по рассказу не могут сравняться с прежними его баснями, в которых с прелестью поэзии соединено что-то русское, национальное. В прежних баснях И. А. Крылова мы видим русскую курицу, русского ворона, медведя, соловья и т. п. Я не могу хорошо изъяснить того, что чувствую при чтении его первых басен, но мне кажется, будто я где-то видал этих зверей и птиц, будто они водятся в моей родительской вотчине».

В других землях требовали и требуют, чтобы драматические писатели, творцы эпических поэм, почерпали предметы и вымыслы свои из отечественных источников; но наш Шлегель увлекается гораздо далее в порыве пламенного патриотизма. Он не довольствуется отечественным пантеоном; он требует еще и отечественного зверинца, отечественного курятника, отечественного птичника. По нем, сохрани боже, чтобы русский баснописец употребил в басне своей, например, цесарскую курицу или швабского гуся; нет, – давай ему непременно куриц русских, гусей русских; поэтический желудок его не варит других, кроме русских. Должно надеяться, что требования новой пиитики нашего законодателя возбудят покорное внимание будущих баснописцев; но одно меня тревожит за них: где будет предел его требованиям? Удовольствуется ли он тем, что его станут потчевать одною русскою живностью. Из последних слов приведенной выписки не высказывается ли требование живности доморощенной? Первые басни г. Крылова правились литератору-патри-

оту, по чем? Ему казалось, что герои оных водились в его родительской вотчине. Искренно поздравляем нашего Аристарха – помещика с родительскою вотчиною: не каждому литератору можно похвалиться подобною собственностью; поздравляем и с тем, что он имеет при ней куриц и соловьев, приятную пищу для желудка и ушей, хотя сожалеем вчуже, что в этой вотчине водятся медведи, потому что от них сельские прогулки могут вовлечь хозяина в неприятные встречи. Понимаем также, что для образованного помещика очень приятно иметь домашнего Лафонтена биографом-живописцем господского птичьего двора; но пускай указатель новой пиитики царства бессловесных сжалится немного над затруднительным положением баснописца, который в таком случае должен приписаться к какой-нибудь вотчине, чтоб доставлять читателю своему приятные воспоминания о его домашнем хозяйстве. Должно надеяться, что в другом письме на Кавказ последуют пояснения и прибавления, которые, к общему удовольствию, согласят выгоды читателей-помещиков с выгодами приписных баснописцев.

1825

## Приписка

Вот и эта статейка способствовала заподозрить меня в неуважении к Крылову. Не все грамотные люди умеют пи-

сать; это известно: за примером ходить далеко не нужно. Но можно, по крайней мере, было думать, что все грамотные умеют читать; а на деле выходит, что и этого нет. Как умеющему читать могло бы померещиться, что я здесь нападаю на Крылова? Не явно ли, что предмет суждений и насмешек моих критик, требующий, чтобы Крылов был непременно поставщиком доморощенных зверей, доморощенных животных. Он требует, чтобы каждая басня носила свое русское тавро, чтобы баснописец был именно русский гуртовщик, русский разносчик русских певчих птиц, а отнюдь не канареек и других заморских пернатых. Хорошенько допросить нашего критика, он готов сознаться, что и Петр Первый напрасно водворил в России голландских коров. И то правда: это уже не басня, а гораздо поважнее басни, – это история и статистика. Боже мой, до каких гнусностей может довести патриотизм, то есть патриотизм, который зарождается в некоторых головах, совершенно особенно устроенных. Признаюсь, я не большой и не безусловный приверженец и поклонник так называемой национальности. Думаю, что и Крылов не гонялся за национальностью: она сама набежала на него, прильнула к нему, но и то не овладела им. Вот, например, случай, который доказывает, что он был более классик, нежели националист. Пушкин читал своего «Годунова», еще немногим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения я стоял тогда возле Крылова. Пушкин подходит к нему и, добродуш-

но смеясь, говорит: «Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и на глаза ваши не хороша». – «Почему же не хороша? – отвечает он. – А вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: не грешно ли вам, пеняет он ему, насмеяться надо мною и в присутствии моем уверять, что в божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня. – Так что же, – возражает проповедник, – для горбатого и ты очень хорош». – Пушкин расхохотался и обнял Крылова.

Национальность есть чувство свободное, врожденное: мы любим родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает своими, по тому же закону природы, по которому любим себя, а в себе любим и семью свою, родителей, братьев, сестер. Захотеть же вложить это чувство в систему, в учение, в закон это то же, что задушить его. Не следует суживать воззрения свои, понятия, сочувствия. И те и другие, чтобы отыскать место свое, требуют простора и воли. Литературная ли национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченном, ни до чего хорошего довести не может.